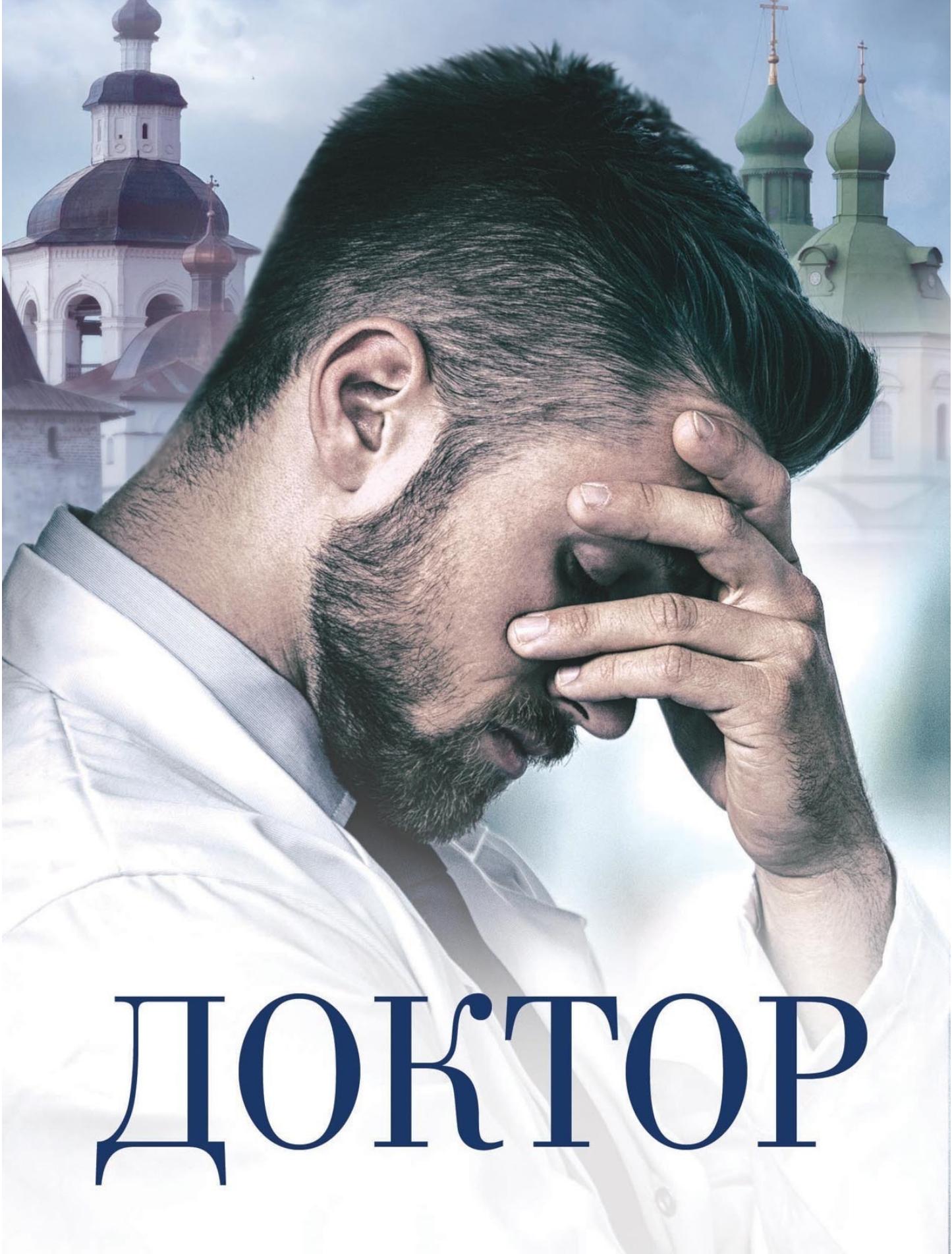


Андрей Грек



ДОКТОР

Андрей Грек

Доктор

«Издательство АСТ»

2008

Грек А.

Доктор / А. Грек — «Издательство АСТ», 2008

Писатель Андрей Грек (А.Ю. Убогий) — хирург-уролог в Калужской городской больнице скорой помощи. Член Союза писателей России с 1993 года. Прозаик, эссеист, литературовед. Лауреат всероссийских и областных литературных премий, в том числе премии имени Леонида Леонова (2002 г.), имени Вадима Кожинова (2003г.), имени братьев Киреевских (2006 г.) и др. Награжден Орденом Гиппократа за преданность и верность клятве Гиппократа, долголетний добросовестный труд в системе здравоохранения и высокий профессионализм. Роман «Доктор» недавно вышел в Италии в издательстве «Культура, наука, искусство» и бурно обсуждается среди читателей. Подобного сюжета в отечественной литературе еще не было. В монастыре умирает пожилой истопник. Монах, обнаруживший тело, находит и четыре тетради, в которых, как оказалось, покойный описал свою необыкновенную историю. Некогда успешный хирург Днепров думать не думал, как круто может вдруг измениться его налаженная жизнь – доктор становится инвалидом, обузой для близких, почти что изгоем. Он начинает жизнь железнодорожного нищего, кормящегося подаянием и ночующего, где придётся. Но злодейке-судьбе мало и этого: после скитаний по поездам и вокзалам герой оказывается на свалке. Но, видимо, испытания, выпавшие на долю доктора Днепрова, были не случайны и не напрасны, поскольку, несмотря на болезнь, на невзгоды, на одряхление тела дух его остаётся светел и чист, а милосердие, понимание ценности человеческой жизни и преданность профессии вызывают истинное восхищение. Содержит нецензурную лексику

© Грек А., 2008
© Издательство АСТ, 2008

Содержание

I	6
II	9
III	12
IV	14
V	16
VI	19
VII	21
VIII	23
IX	24
X	25
XI	27
XII	29
XIII	32
XIV	34
XV	36
XVI	38
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Андрей Грек

Доктор

I

«Отчего же так холодно? – О. Яков, дрожа, посмотрел в темноту за окном кельи. – Может быть, что-то случилось в котельной?» Поток неотвязных забот одолевал его с тех самых пор, как о. Якова, молодого еще человека, назначили замещать игумена монастыря – о. Нил долго и тяжко болел – и даже утром, в час ранних келейных молитв, не отогнать было мысли о кухне, о прачечной или о том, где достать денег рабочим, ведущим ремонт лазарета.

Озябшие руки монаха ощупали ребра остывшей, сырой батареи. Тоска и тревога вдруг так усилились, что даже заныло в груди.

– О господи… – вздохнул о. Яков и перекрестился.

В такие минуты, он знал, помогала молитва. Но, когда о. Яков подлил масла в лампаду – огонёк ее вытянулся, озарив скорбный лик Богородицы – вновь осенился крестом и начал привычно шепчущей скороговоркой: «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины…» – как в дверь постучали.

– Кто там? – раздражённо спросил о. Яков, и сам не узнал свой пустой, сиплый голос.

– Молитв ради… отцов наших… и всех святых… – забормотал кто-то за дверью. – Отец Яков, откройте!

Это был суетливый Василий, послушник, который всегда самым первым узнавал монастырские новости. Его бабье лицо выражало испуг: глаза бегали, губы дрожали от нетерпения доложить о случившемся.

– …Холодно, спать не могу, – торопливо рассказывал он. – Дай-ка, думаю, добегу до котельной: вдруг там что случилось? И с фонариком, стал-быть – туда…

– Ну, и что там?

– А там, отец Яков, страх Божий – там мёртвое тело лежит!

– Что за тело? – О. Яков вздрогнул, и оба – монах и послушник – перекрестились.

– А это Григорий, наш истопник, ну, тот, что с весны при котельной живёт. И он-то, сердешный, холодный уже – и котлы уже все поостыли…

Поспешно надев телогрейку, скуфью, монах вышел вслед за Василием. На дворе ему показалось даже теплее, чем было в каменной келье. Поначалу в глазах зарябило от звёзд, но потом, опустив взгляд долу, о. Яков различил свет фонаря на глыбистой, мёрзлой земле под ногами.

– Осторожнее, отец Яков, – бормотал задыхавшийся, тучный Василий. – Ступайте за мною, вот прямо по пятнышку света…

Он причитал на ходу, продолжая заботливо двигать перед о. Яковом пятно фонарного света. В это пятно попадали сухие травины, комки индевелой земли, отпечатки рубчатых подошв и суконный подол его, о. Якова, рясы. Всё это было настолько отчётливым, резким, что сама беспощадно-нагая отчётиловость, как бы враждебность, предметов, встречавшихся им на пути – обостряла в душе о. Якова чувство тревоги.

Пока они медленно, словно бы крадучись, шли через ночь, монах вспоминал человека, что жил при котельной. Да, он попросился в истопники как раз на Страстной. Монастырь задыхался тогда от нехватки рабочих, на кухне и прачечной мучились без горячей воды, и о. Яков был рад любому помощнику. Григорий – так он назывался – не просил ни жилья, ни, тем более, платы, сказав, что поселится прямо в котельной. Документов с ним, правда, не было никаких, но какой же бродяга имеет с собой документы? Еще он сказал, что раньше был доктором, что

болен тяжёлой болезнью – так, что и помирать ему, скорее всего, придётся в монастыре. «Что ж, на всё воля Божья», – ответил тогда о. Яков. Почему-то он верил всему, что ему говорил измаждённый, с седой бородой, незнакомец. То ли скорбный, светящийся взгляд его глаз, то ли нервные длиннопалые руки, чуть не по локти торчавшие из рукавов телогрейки, но что-то в Григории было такое, что его отличало от прочих бродяг, попрошаек, юродивых, отиравшихся около монастыря. Потом о. Яков несколько раз собирался наведаться к истопнику, поговорить с ним пообстоятельней, не торопясь, но, как водится, не было времени. К тому же, котельная заработала без перебоев, и о. Яков всё реже вспоминал и о ней, и о новом истопнике. «Теперь-то не поговоришь, – вздыхал о. Яков. – Теперь никогда не узнаешь: что это был за человек, и как Бог привёл его в монастырь?» К чувствам тоски и тревоги, что переполняли его, прибавилось чувство досады, стыда, и еще страх собственной смерти – которая, не дай бог, будет столь же внезапной, как смерть того человека, на последнюю встречу с которым они теперь шли.

Луч фонаря скользнул по угольной куче, затем вспрыгнул на невысокую дверцу, нашарил скобу замка, ручку – и о. Яков с Василием, пригибаясь, вошли в кочегарку.

Тело лежало у топки, раскинувшись навзничь по крошеву угля. Едва ощутимым теплом еще веяло от распахнутой топочной дверцы, поэтому, может быть, и о. Яков подумал: «А вдруг он еще жив?»

Но ледяная щека, до которой монах осторожно дотронулся, не оставляла сомнений: покойник.

– Не суетись, наведи свет на лицо, – задержал о. Яков дрожащую руку послушника с прыгавшим в ней фонарём. – Или дай-ка, я лучше сам посвечу.

Поражала значительность мёртвого лица. Черты его были искажены: одной половиной губ мёртвый как бы улыбался, а другой угол рта был скорбно опущен. «Инсульт, – догадался монах. – Моя мать умирала с таким же вот перекошенным ртом».

Всё в лице мёртвого было крупным, породистым: уши, нос, складки грубых морщин и седая, по грудь, борода. Залысины делали очень высоким, внушительным лоб. Глаза были полу-прикрыты – казалось, что мёртвый доселе сурово следит за живыми.

– Непростой, видать, был человек, – зашептал Василий. – Вон какие глазищи! А лоб? Я таких лбов и не видывал…

И он снова поспешил перекреститься – как зачарованный, не сводя глаз с мёртвого. О. Яков поводил пятном света вокруг, освещая котельную. Колена изогнутых, сдвоенных труб и их черные тени так сложно смешались, накладываясь друг на друга – словно переплетённые змеи зашевелились во мраке. На одной из остывших труб уже мерцал иней.

В углу помещалась постель: на трёх деревянных составленных ящиках лежала куча тряпья, а изголовьем служил серый дерюжный мешок, чем-то туто набитый. Рядом был стол: тоже ящик, стоявший на четырёх кирпичах и покрытый истёртой kleёнкой. Из стакана, залитого стеарином, торчал огарок свечи. На столе о. Яков увидел четыре истрёпанных толстых тетради, одна из которых была раскрыта. Нагнувшись над нею и подсветив фонарём, монах полистал исписанные страницы. Печерк был крупным, размашистым: даже по беглому взгляду, и то было видно, какой быстрой рукою всё это писалось.

«Что это? – удивился о. Яков. – Похоже на исповедь или дневник… Если так – надо взять почитать».

– Вот что, – сказал он Василию, напряжённо дышавшему рядом. – Ступай к привратнику и сообщи с его телефона в милицию. И поскорее: вот-вот зазвонят к заутрене.

– Ох, батюшки, я и забыл: нынче ж праздник! Отец Яков, вы уж простите меня: я вам всё утро испортил.

– Да ты-то, Василий, при чём? Ладно-ладно, ступай. И фонарь забери: я и так добреду.

Когда о. Яков, забрав тетради, вышел снова во двор – там уже посветлело. Звезды сделились мельче, а на краю небосвода обозначились кроны деревьев и башни их древнего монастыря – те, что помнили еще Смутное время.

Не успел о. Яков пройти двух десятков шагов, как с колокольни Введенского храма донёсся гудящий чугунный удар. Сердце монаха забилось поспешно и радостно – в такт переливчатых, бодрых трезвонов, сопровождавших гул главного колокола. Благовест ширился, рос. О. Яков чувствовал, как его словно приподнимает, волна за волной, колокольный размежеванный звон: с каждым гулким, могучим ударом из души уносило тоску, раздражение, страх – и он, о. Яков, становился как будто крупнее и чище.

Менялся и мир, что лежал в зябкой утренней мгле. Недавно пустой и потерянный, весь какой-то чужой сам себе – он наполнялся, удар за ударом, энергией жизни. Упорно и радостно бившие колокола словно выковывали новый, уверенный день – из тревожных, сомнительных сумерек утра.

II

О. Яков даже не представлял, как ему будет трудно в монастыре. Он был человеком любви – или гнева; а монастырский быт, весь этот сложный людской, непрерывно бурлящий, котёл для любви оставлял места мало – зато ежедневно поддерживал гнев, раздражение и недоверие к людям.

Расположенный на том самом «сто первом километре», куда столица выбрасывала отсивевших по тюрьмам людей, монастырь до сих пор подвергался нашествию освободившихся уголовников. Донимала и «чистая» публика. Паломники и экскурсанты, больные и новобрачные, окрестные жители и бизнесмены, у которых не ладилась личная или торговая жизнь – все стремились в старинную эту обитель. Казалось, что люди везут свои беды, грехи со всех концов света – и что стены монастыря, несмотря на могучую их толщину, вот-вот не выдергут напор бесконечных грехов и несчастий. Почти ежедневно случались скандалы и кражи, из гостиницы для паломников то и дело выносили пустые бутылки и даже шприцы (наркоманы тоже нередко наведывались сюда), и о. Яков большую часть своих сил и времени тратил на то, чтобы поддерживать хоть какой-то порядок. «Словно это и не монастырь, – вздыхал он, крестясь, в час вечерних молитв, – а, прости господи, вшивый рынок какой-то...»

Побыть с самим собою наедине, разобраться в своих мыслях и чувствах не оставалось ни сил, и ни времени. Порою казалось: он вовсе и не живёт здесь, в монастыре, а видит мелькающий, путаный сон. И как часто бывает во сне, всего тягостней было чувство бессилия, невозможность что-либо исправить в том хаосе, в котором он вдруг оказался.

Время, когда он служил в храме, было для о. Якова лучшим временем дня. Покой самозабвения опускался тогда на него: то блаженное состояние, когда тебя самого, со всеми тревогами и бытовыми заботами уже как бы и нет, а есть гулкий храм, весь наполненный блеском подсвечников, ламп и окладов, полный клубящимся ладанным дымом, есть густой бас диакона, от которого даже колышется пламя ближайших свечей, и есть множество ликов, внимательно-скорбно следящих с икон за неспешным течением службы. Литургия была как река – и о. Яков плыл в ней, забывая себя. Что делать и что говорить, когда выходить на амвон, а когда возвращаться в алтарь, он не думал: все совершалось само по себе, словно и не о. Яков вёл службу, а, напротив, сама литургия, сам ее древний порядок и чин направляли и руки, и речи иеромонаха. О. Яков был только малою частью чего-то огромного, древнего – и вот именно эта причастность старинному таинству службы наполняла о. Якова самозабвенным, блаженным покоем.

Он бы хотел, чтобы служба совсем не кончалась, чтобы густые басы монастырского хора всегда продолжали гудеть под высокими сводами храма, чтобы вечно был слышен треск тонких свечей, и мерцал бы их свет, так волшебно умноженный позолотой иконных окладов, чтобы лился и лился тот сложный, таинственный, древний поток литургии, в котором так радостно плыть...

И четыре, и пять часов долгой службы порой пролетали, как один миг, а потом, когда служба кончалась, и о. Яков, сняв облачение, выходил на крыльце опустевшего храма, он не сразу осознавал, где же он оказался. Озираясь, он думал: зачем этот двор, эти люди, снующие мимо с озабоченным выражением лиц, к чему эти груды красного кирпича и штабеля сырых досок – и чего, например, хочет вот эта растрёпанная старуха, вдруг повалившаяся перед ним на колени?

– Встань, матушка, встань, – растерянно бормотал о. Яков, поднимая рыдающую старуху. – Не меня проси, Бога проси...

Он что-то делал, ходил, говорил, но в душе его долго еще сохранялось недоумение перед этим назойливым, суетным миром, который был так непохож на высокий, торжественный мир литургии и храма, но в котором ему, о. Якову, опять надо было трудиться и жить.

Иногда было чувство, что он погружается в чан с нечистотами: настолько был резок контраст между чистым, восторженным настроением храмовой службы – и той мелко-суетной жизнью, что мутно кипела вокруг.

Вот и сегодня: едва он, отслужив, пришёл к себе в келью, за ним прибежали из кухни.

– Отец Яков, идёмте скорей, там опять безобразят!

– Что такое?

– Двое урок напились за трапезой, а теперь требуют, чтобы их поселили в гостиницу.

Когда о. Яков, катающий желваки по напрягшимся скулам, быстро вошёл в трапезную – пьяных там уже не было.

– Где они?

– Только что вышли, отец Яков, – ответил послушник, гремевший посудой. – Покурить им, видите ли, захотелось…

Те двое, одетые, как попугаи, в цветастые куртки, стояли, пошатываясь и съто икая, на ступенях Введенского храма – и оба курили. Вытатуированные перстни синели на их пальцах вперемежку с литыми печатками, рты сверкали золотом фикс, а на оголившейся, потной груди одного синело не меньше десятка церковных куполов: по одному на каждый год отсидки. Вот этот-то, с куполами на жирной груди, был особенно мерзок: лысый, огромного роста, с лицом, перечёркнутым шрамом. Он посмотрел на подошедшего о. Якова хмельным и насмешливым взглядом.

– Ты, батя, не бзди, – гигант положил на плечо о. Якову руку. – Мы еще по бутылочке скушаем, да пойдём себе банишки. Есть у вас тут номера поприличнее?

Монах, резко дёрнув плечом, сбросил тяжёлую руку. Пьяный гигант помрачнел.

– Что это здесь какие-то нервные все? – спросил он худого, курившего рядом, напарника. – Что шестёрки на кухне, что этот монашек… Я так не люблю: я люблю, чтоб со мной по-хорошему!

И он, пожевав сигарету, с досадою сплюнул: комок жёлтой слюны шлёпнулся на ступень храма.

Никто не успел понять, что случилось: через мгновение жирный гигант лежал на спине, его ноги дёргались, а изо рта текла кровь. О. Яков и сам с недоумением, как на что-то чужое, посмотрел на свой собственный, в кровь разбитый, кулак.

Второй уголовник куда-то исчез, а вокруг о. Якова и поверженного гиганта засуетились люди.

– Оттащите его за ворота, – пряча разбитый кулак в подол рясы, приказал о. Яков послушникам. – Пусть там полежит, пока не очухается. И помойте ступени…

Его всё сильнее знобило: как будто вся ярость и всё напряжение краткого боя достигли своей высшей силы вот только сейчас, когда всё было кончено. От высокого, чистого настроения службы не осталось следа. С окаменевшим и серым лицом о. Яков пошёл к себе в келью, стараясь ни на кого не смотреть. «Что ж за люди-то, господи? – думал он. – Да и сам-то хорош: распустил кулаки, как мальчишка в уличной драке… Завтра к настоятелю надо пойти исповедаться, чтобы он епитимию наложил, а то служить нельзя будет…»

До самого вечера мучился он отвращением к людям и к себе самому: он был словно отравлен всем тем, что случилось сегодня. «Похоже, я болен…» – вздыхал о. Яков. На глаза вдруг попались тетради, которые он еще утром принёс из котельной. «Что это? Ах, да: записки покойного истопника…»

И он раскрыл верхнюю из лежавших на подоконнике четырёх тетрадей. Первое, что поразило его, и чего не заметил он раньше – это то, как разгонистый почерк Григория был похож

на его собственный. «Надо же, – удивился монах. – Словно я сам всё это и написал...» Почерк был неразборчив, но о. Яков легко разбирал строчку за строчкой, как будто читал своё собственное письмо.

Чтение всё сильнее его увлекало. Он пододвинул поближе настольную лампу и сел поудобнее. Было чувство, что кто-то находится с ним, о. Яковом, в келье, вместе с ним перелистывает тетрадь, и это незримое чьё-то присутствие утешало монаха, уставшего от одиночества.

III

«...Счастье мать, счастье мачеха, счастье бешеный волк...» Так говорила покойная бабка, Матрёна Ивановна – и мне почему-то всё чаще теперь вспоминаются эти слова. В них вроде нет очевидного смысла, но всё же сквозит смысл иной, тот, который не так просто выразить мыслью и словом.

Так вот и эти записки, которые я, для себя неожиданно, взялся писать. Очевидного смысла в них вроде и нет – кому нужно знать, как жил бомж, пусть даже бывший хирург? – но мне самому перед смертью, уже недалёкой, хочется снова увидеть свою миновавшую жизнь. Увидеть не в том хаотически-путаном виде, в каком ее воскрешают капризные и непослушные воспоминания – а увидеть изложенной более или менее связно. Ведь нам, людям, нужно не просто прожить свою жизнь от рождения до смерти, но нужно еще и осмыслить ее: нам нужно сознанье того, что пройдённый нами путь был не случаен и не напрасен.

И чувствую, надо спешить. Провалы беспамятства, те, что случались и раньше, всё учащаются, и мне всё трудней отнимать у забвения то, что оно поглощает так жадно и вместе с тем так равнодушно. Пока лето, пока ночи теплы, и работа в котельной не слишком обременяет меня – постараюсь усердно, как и подобает монастырскому труднику, писать свою летопись.

Если бы кто-нибудь из моих прежних знакомых повстречался со мною сейчас – он бы ни за что меня не узнал. Теперь я похож на скелет, обтянутый жёлтой кожей, с седой бородой и трясущимися руками: не человек, а выходец с того света. А всего год назад я был доктором, человеком довольно известным в том городе, где я жил – и, уж конечно, мой облик тогда был другим. Я был осанистый, крупный мужик с животом и двумя подбородками, лицо моё было всегда чисто выбрито и благоухало хорошим одеколоном, белый халат всегда был отглажен – сама внешность моя излучала уверенность, бодрость, желание жить. «На вас, Григорий Александрович, только посмотрши – так сразу и сил прибавляется», – бывало, говорили мне пациенты.

Двадцать пять лет – полный рекрутский срок – я отработал хирургом. К сорока стал заведующим отделением, оперировал много и с удовольствием – в общем, вёл жизнь успешного доктора, на которого молодые медсестры смотрели влюблённо, а молодые коллеги – ребята, как правило, самолюбиво-ревнивые – тем не менее, всегда признавали за лидера и за неплохого врача.

И вот что интересно: те двадцать пять лет, что я отработал в больнице, сейчас вспоминаются, как один, всего-навсего, день. Как будто я утром, совсем молодым человеком, вошёл в хирургический корпус больницы, провёл долгий день в палатах, перевязочных и операционных – а вечером, уже в сумерках, с больничного крыльца утомлённо спустился пожилой доктор Днепров. Конечно, так промелькнуть может только счастливая жизнь: только самозабвение живой, интересной работы позволяет не замечать даже времени.

Больница притягивала, словно магнит. Случалось, гуляя с семьёй в воскресенье по городу, я испытывал неодолимую тягу зайти в отделение и проведать больных – хоть в этом и не было никакой неотложной нужды. И я говорил жене Вале и сыну Серёже:

– Возвращайтесь домой без меня, а я забегу на работу.

– Сто, душа неспокойна? – спрашивал, шепелявя, мой маленький сын, повторявший мои же собственные слова.

– Неспокойна, Серёженка, – смеясь, отвечал я ему. – Вот вырастешь, станешь врачом, тоже будешь в свои выходные наведываться в больницу.

– Нет, врачом тогда быть не хочу, – отвечал мой сынок, рассудительный не по годам. – Я хочу лучше на самолёте летать!

И по утрам, когда шёл на работу, я всегда чувствовал притяжение больницы. Уж, казалось бы: что хорошего ждёт меня там, где скопилось такое количество боли и горя, где придётся выслушивать бесконечные жалобы, мять животы, отдирать в перевязочных набрякшие кровью повязки и часами потеть за операционным столом? А вот, поди ж ты, я всегда прибавлял шагу, когда видел семиэтажную эту громаду, напоминавшую грузный корабль, что плывёт над гудящей машинами улицей, над людьми и домами, над всей городской суетой.

Я входил в нее с чувством, что будто ныряю в стремительный, сильный поток – и он подхватывал, нёс, не давал ни опомниться, ни оглядеться, ни даже подумать о чем-нибудь, кроме работы. Передо мной бесконечно мелькали знакомые и незнакомые лица, каталки и лестницы, гулкие коридоры больницы, шипящие струи воды и мыльная пена, вспухавшая между ладоней, в глубине раны хлюпала кровь, ритмично гудел аппарат для наркоза, и непонятно, что больше слепило и утомляло глаза: многоглазая лампа, чей диск висел над столом, или блеск инструментов в распахнутой ране? Как ни странно, но доктору, погруженному в операцию, думать, в сущности, не о чем: работа сама все диктует ему. Надо шить – значит, шей; надо что-то отсечь – бери ножницы или скальпель; если вдруг струя крови выпрыгнула из раны – значит, надо искать, перевязывать повреждённый сосуд. Так хороший пловец на поверхности сильной, его подхватившей, реки – он, конечно, не думает, какой именно сделать гребок, как толкнуться ногой или выбросить руку; ему надо лишь чувствовать реку, надо не спорить с потоком, но надо гребти, помогая реке, совпадая с движением струй – и тогда, может быть, тот пловец и сумеет достигнуть намеченной цели.

Так вот и я плыл в потоке работы, порой забывая о времени и о себе, пока в мой кабинет не входила Даниловна, старая санитарка.

– Чтой-то, Лександрыч, ты нонича припозднился? – говорила она дежурную фразу. – Не пора ли, голубчик, домой?

Она опиралась на швабру потешно и важно, как солдат на ружье, и я порой думал, что это не просто хмельная старуха, которая моет полы, а ведунья, которая знает о жизни и времени больше всех нас.

– Виноват, засиделся! – отвечал я Даниловне, как рядовой генералу, и мы с нею дружно смеялись.

Уже в сумерках, оглушённый всем тем, что случилось в течение дня – уставшие ноги гудели, и ныла спина – я медленно пересекал двор больницы, потом шёл по улице вдоль чугунной ограды – с чувством, что я, утомлённый заплытом, сейчас выбираюсь на берег, а больничный поток продолжает куда-то нестись, но уже без меня…

IV

В больнице я любил всё. Мне нравилось, как, например, валит пар из распахнутой форточки пищеблока, и как несколько прикормившихся возле больницы собак, скулящих и перебирающих от нетерпения лапами, ждут повариху Наталью – весёлую, толстую бабу, – которая скоро вынесет миску с объедками.

Или мне нравилось наблюдать, как, наподобие белого флага, треплется сетчатый лёгкий мешок, что надет на трубу вентиляции прачечной, чтобы в него набивалась летящая вата и нитки. Этот бьющийся белый мешок напоминал корабельный вымпел; и сходство больницы с ковчегом, спасающим множество самых различных людей – это сходство опять приходило на ум.

Мне даже нравилось, как гудят лифты, как хлопают двери и как мелкой дробью стучат в коридорах колеса каталок: все эти звуки говорили о том, что больница живёт и работает, дышит – и я, вместе с ней, тоже двигаюсь, тоже дышу.

В дежурные ночи, когда я лежал на диване в своём кабинете и слышал сквозь дрёму все звуки бессонной больницы – тогда я испытывал странное чувство: как будто громада больницы находится где-то внутри меня самого. С урчаньем гудели водопроводные трубы – казалось, гудящее это урчанье я слышу внутри своего живота. Скрипят где-то двери или половицы, а мне мерещится, что хрустят мои собственные суставы. По коридору стучат, приближаясь, колеса каталки: как будто во мне, всё сильнее и громче, стучит моё сердце…

Можно было подумать, больница была мной самим, а я, в полудрёме лежащий внутри ее чрева, был целой огромной больницей, был чем-то таким, что вмещало в себя и больных, и палаты, вмещало пожарные лестницы и коридоры, гулкие залы реанимации и оперблока – то, что вмещало весь этот родной и любимый мной мир.

Но больше всего я любил оперировать. Уже в раздевалке, где мы облачались в просторные, тёплые – только-только из автоклава – штаны и рубахи, я начинал себя чувствовать лет на десять моложе. Вот странно: при всей любви к чистой, добротной одежде – я и в других терпеть не мог затрапеза и неаккуратности – затрёпанное белье оперблока мне всегда нравилось. И пусть мы, хирурги, потешно выглядели в этих штопанных, драных, линялых портах и рубахах – ни дать, ни взять, оборванцы в исподнем – но мне было приятно напяливать эти лохмотья. Неужели тогда, в мои самые благополучные годы, я уже как бы предчувствовал, что меня ожидает судьба оборванца-бродяги?

Переодевшись, шёл мыть руки. Шипела тугая струя, обмылок мелькал в потирающих друг друга ладонях, и серая пена всухала меж пальцев. Казалось, я мою сейчас не одни только руки – но очищаю и душу. Все суетно-мелкое, лишнее – будто смывалось струей воды. Пожалуй, нигде, кроме как в оперблоке, я не бывал так спокоен и собран, никогда так отчётливо не сознавал, что я в мире есть, и я миру – нужен. И круглое зеркало, что висело над раковиной, подтверждало моё ощущение: в нём отражался спокойный, уверенный взгляд человека, которому ясно, зачем он живёт.

Подняв руки – с локтей капало, и на подоле рубахи расплывались мокрые пятна – я быстро входил в операционную залу.

– Добрый день! – бросал я в ее гулко-кафельное пространство.

Мне вразнобой отвечали врачи, санитарки и сестры – и только больной, что лежал на столе обнажённый, с дыхательной трубкой во рту, не мог ничего сказать. Несмотря на обилие здесь и людей, и приборов, и самых разнообразных предметов, от пластмассовых вёдер до ярко сияющих ламп, пространство, в котором мы все находились, казалось огромным и гулким – как в храме. Здесь каждый звук, каждый жест становился как будто весомей себя самого.

Меня и облачали, как будто священника в храме. Подавали халат – я вставлял руки в его тёплые рукава – завязывали на затылке тесёмки марлевой маски и надевали на руки перчатки. Нужный размер попадался нечасто – пальцы мои были слишком длинны – и я, как на что-то чужое, секунду-другую смотрел на тугие, резиной облитые, кисти.

В эти секунды всегда становилось немного не по себе. Казалось: вдруг я не смогу сделать то, чего от меня все ждут – вдруг пошатнётся моя репутация блестящего, как выражались больные, хирурга?

Но тревога всегда проходила, стоило взять в руку скальпель и сделать разрез. Трудно поверить, но в эти минуты в душу приходит покой, именно ради которого, может быть, хирурги так любят операционную. Странное, вроде бы, дело: откуда присходит этот покой к тем, кто делает самую беспокойную в мире работу? Но, по мере того, как все глубже ты погружаешься в рану – электрокоагулятор пищит, струйки сизого дыма взвиваются от обугленных тканей – ты так облегченно поводишь плечами, так шумно вздыхаешь, как будто с тебя сняли ношу, убрали тот груз, что лежал на плечах – и теперь ты спокоен и счастлив. Ты уж не ты, не тот прежний и часто тяжёлый тебе самому человек, одинокий, стареющий, грузный – но ты вдруг становишься частью чего-то живого, огромного, частью того, что сейчас подхватило тебя и несёт в бесконечном и сложном потоке работы. Тебе сейчас нужно одно: не противиться этой таинственной силе, а с ней совпадать – тогда вся операция будет идти так, как нужно, как будто сама по себе. Ты увидишь, что руки твои надсекают, пальпируют, вяжут и шьют уже словно сами собой – а ты лишь удивляешься, глядя на них, до чего же сноровисто, ловко все получается. Вот это и есть настоящее счастье хирурга: когда, кажется, можно совсем отойти от стола – а набравшая ход операция все равно будет длиться. Словно ты уж давно растворился, исчез в этом кафельном гулком пространстве, в сиянии ламп – но продолжают скрипеть лигатуры и звякать зажимы, ножницы тую хрустят, надсекая рубцы, и вот уже видно, как в ране, такой измочаленно-страшной сначала, ткани словно срастаются, все мало-помалу приходит в порядок, и уже недалёк тот момент, когда операция – словно сама по себе – завершится...

V

Не всегда, разумеется, всё получалось так гладко. Бывало, сойдёт седьмь потов, пока выделишь какой-нибудь, запаянный насмерть, желудок – и успеешь не раз проклясть день и час, когда ты пошёл в хирургию. То ли сам будешь не в лучшей форме, то ли больной попадётся такой неудобный, что все в нем не так, не с руки – но порой операция превращается в каторжную, изводящую нервы, работу. Пыхтишь, обливаешься потом, орёшь на своих ассистентов – а, когда сам оперируешь плохо, то и помощники, кажется, больше мешают, чем помогают – и устаёшь, в конце концов, так, будто все это время ты проработал в кузнице молотобойцем.

Переодевшись, приходишь к себе в кабинет измочаленный, еле живой, а в дверь уже стучат пациенты: «Мы к вам, доктор, на консультацию...»

Но зато в конце дня, когда, наконец, посмотрел всех больных, написал все бумаги, сходил еще раз в реанимацию к тем, кого оперировал – вот тогда можно тихо-спокойно и посидеть в ординаторской. Раньше, еще молодым, я все время куда-то спешил: то в поликлинику на подработку, то за сыном в детсад, то просто домой, чтоб побывать там с Валюшкой, да поспать-отдохнуть после бессонных полутора суток дежурства.

А потом спешить стало некуда. Жену схоронил шесть лет назад – диагноз «лейкоз» произвучал, словно гром среди ясного неба, а сын давно вырос, женился, и Машеньке, внучке, уже было три года. Сын, прямо скажем, пошёл не в меня. Он сутками не отходил от компьютера; Сергею было нужно одно: чтоб ему не мешали существовать в виртуальной реальности, то есть в мире, которого нет. Смешно и стыдно сказать, но мне с ним как-то и не о чём стало поговорить: моя хирургия и его компьютеры находились словно на разных планетах.

В свою жену сын был влюблён так же, как и в компьютеры: он был от нее без ума. Стоило при нем произнести слово «процессор», «программа» или «Наташа» – как на его полном лице расплывалась улыбка совершенно счастливого человека. Ну, да бог с ним – его, в конце концов, жизнь, его выбор, и не мне решать, как и с кем ему жить. Мои-то собственные отношения с невесткой складывались, мягко говоря, холодновато, так что домой меня не тянуло еще и по этой причине. Я бы, конечно, давно разменял нашу трёхкомнатную квартиру, и жил бы отдельно, но дом наш был старым, подписанным к сносу, и никаких операций обмена или купли-продажи мы совершил не могли. Терпели и жили, надеялись на расселение – и в этих надеждах прошло уже несколько лет. Я был словно прикован к этой квартире, опостылевшей мне после Валиной смерти, и к чужой для меня семье сына. Если б не Машенька, внучка – мне бы и вовсе не с кем было ни посмеяться, ни поговорить в своём собственном доме.

То ли дело в больнице, с друзьями-коллегами, рядом с которыми прожита целая жизнь. Эти люди мне были ближе родных. Вот, скажем, Кирилл Митрофанович, наш патриарх. Старику было крепко за восемьдесят, но он исправно ходил на работу, и даже еще оперировал, причём очень неплохо, в добротно-старинной манере – большие разрезы и редкие швы – в том стиле советской военно-хирургической школы, который сложился у Митрофана еще на войне, в медсанбате, да так и остался на целую жизнь.

За те четверть века, что я проработал в больнице, Митрофаныч нисколько не изменился: старик словно был заспиртован. Такой же бугристый и голый череп, такие же кисти тяжёлых, с набрякшими венами, рук – и утробный, как будто из-под земли доносящийся, голос. Митрофаныч говорил мало, но всегда очень смарочно, и многие из его выражений разошлись по больнице в виде присказок и поговорок.

– Ну что, Гриша? – гудел его бас. – Не пора ли по стопочке? А то чувствую – силы в упадке, пора влить горючего.

– Отчего же не влить, Кирилл Митрофанович? – отвечал я ему, доставая коньяк. – День отработали, можно и выпить.

Рюмка совсем пропадала в громадной руке старика.

– Ну, побудем живы! – гудел он, опрокидывал рюмку, и кадык крупно дёргался на его жилистой шее.

– А вы, молодёжь? – обращался я к вечно куда-то спешащим коллегам. – Не составите старикам компанию?

– Нет, шеф, спасибо, мы за рулём, – отвечали обычно они, второпях одеваясь. – Как-нибудь после, когда будет время.

– То есть, когда постареете, – усмехался я, чувствуя, как теплеет в груди после выпитой рюмки. – Что ж, я и сам был такой же: всё, помню, куда-то бежал, всё пытался себя самого обогнать…

Теперь мы с Митрофанычем, два одиноких вдовца, никуда не спешили. Сидели то молча, задумавшись – со стариком было очень легко и спокойно молчать – то вели неторопливые разговоры. Уж Митрофанычу было, о чём рассказать: чего стоил один его год на войне, в медсанбате!

– …А в сорок четвёртом, под Лидой, тоже был интересный случай. Я тебе, Гриш, не рассказывал? Ну, тогда слушай…

Он садился удобнее в продавленном кресле, почёсывал свой лоснящийся череп, и начинал:

– Прорывается к нам, к медсанбату, немецкая рота… Вокруг бой, пальба, крики – конец, в общем, света. А мы что? Мы оперируем – что нам еще остаётся? Ребят же не бросишь, которые ранены. Делаем ампутацию – тут врывается в нашу палатку какой-то эсесовский псих с автоматом. Орёт дурным матом, и дёргает, сука, затвором! Укокошил бы всех нас, как пить дать, только «шмайссер» его, нам на счастье, заело. А у меня как раз, Гриша, в руке ампутационный нож – ну, ты знаешь, длинный такой. Им еще поросят резать удобно… – Старик засмеялся, мотнул головой и так сжал, приподняв, свой громадный кулак, словно в нем и сейчас блестел нож. – И я немца того в живот – пырь! Он, понятное дело, захрюкал, да и завалился… Гриш, налей мне еще – горло сохнет!

Я наливал, старики выпивал, прокашливался, и продолжал рассказ:

– Да… Ну, и дальше себе оперируем. Закончили ту ампутацию, потом еще что-то было, не помню. Короче, всех наших вроде прооперировали. А тот немец в углу всё хрюпит, да ногами считает: никак, гад, кончаться не хочет! Что будешь делать? Говорю сёстрам: ладно, давайте его тоже на стол – погляжу на его требуху. И ты знаешь, Гриш, часа два с ним возился – так я лихо его раскрошил тем ножом. Кишечника метра два удалил, левую почку убрал и селезёнку выбросил. И ведь немец-то – что ты думаешь – выжил! Потом, уже после войны, разыскал меня даже, письмо написал: спасибо, мол, доктор…

Старик не то кашлял, не то отрывисто-глохо смеялся. А потом, утомлённый воспоминаниями и рассказом, он вдруг засыпал: прямо в кресле, уронив на грудь голову, напоминавшую кожистый череп какого-то древнего ящера. «Вот динозавр! – думал я. – Человек вымирающей, редкой породы: теперь-то народ измельчал…»

Уходить всё равно не хотелось, и я бывал рад, когда дежуривший доктор обращался ко мне за советом.

– Шеф, не посмотрите одного мужика? Живот у него вроде мягкий, но что-то он мне не нравится.

Шли смотреть мужика – мне он тоже не нравился – и вскоре брали его на ревизию. Нередко я мылся вместе с дежурным хирургом: отчего, думал я, не помочь молодым? Учитель мой, знаменитый Савельев, тоже, случалось, мне ассистировал. «Не жалей, Гришка, сил, чтоб учить молодых, – говорил он. – Иначе кто после нас оперировать будет?»

Так что нередко рабочий мой день завершался уже поздним вечером, когда оставалось лишь время добраться до дома, помыться, поесть что-нибудь, да заснуть – до назойливо-резкого звона будильника.

VI

Так я и жил, проводя дни на работе, а ночи – в своей комнатёнке, в окружении книг, медицинских журналов и фотографий покойной жены, улыбавшейся со стены так застенчиво и виновато, словно она уже в юности знала о будущей ранней кончине.

И я думать не думал, что в жизни моей, незаметно катящейся к старости, случатся серьёзные перемены. Самое большее, на что я рассчитывал – это покупка отдельной квартиры, в которой я жил бы уже совершенно спокойно, не дёргая нервы себе и домашним.

Но человек предполагает, а судьба располагает, как любила говаривать моя мудрая бабка. Рухнуло всё неожиданно – среди полного, как говорится, благополучия.

Началось всё со взгляда. Я шёл коридором своего отделения и увидел, что на сестринском посту сидит молодая незнакомая женщина в белом халате. Она, склонив голову набок – так, что крыло ярко-рыжих волос закрывало лицо – что-то быстро писала. На мои шаги она вскинула голову и посмотрела мне прямо в глаза. Взгляд ее был глубоким и тёплым: он будто светился. Я даже замедлил шаги, не сводя глаз с лица незнакомки, и тут же почувствовал боль в левой руке.

Я так хорошо это помню, потому что вот точно такую же боль, прохватившую руку от кисти к плечу, я испытал спустя несколько месяцев, на операции, в тот момент, когда проколол себе палец. Сейчас даже кажется, что всё это было единственным событием: словно взгляд незнакомки, укол и болезнь – всё случилось одновременно.

Пробормотав что-то вроде приветствия – красавица мне улыбнулась в ответ – я прошёл в ординаторскую и сразу же, от порога, спросил:

– Кто это там, в коридоре?

– Какой вы, шеф, наблюдательный! – засмеялся Володя Агапов. – Это Олеся Фокина, наш новый терапевт.

– А что она делает здесь, в хирургии?

– Как что? Больных консультирует. Что-то вы, шеф, стали очень уж строгим: кто, зачем, почему? У нас же всё-таки не монастырь, и красивые женщины нам не помеха…

– Она, кстати, замужем, – зевнув, перебил его болтовню Стас Семиродный, измученный трудным дежурством. – Так что не слишком-то разгоняйтесь, коллеги.

– Замужем? Это же замечательно! – оживился Володя, известный ходок. – Проще всего соблазнить молодую замужнюю женщину. Из всех мужчин она разочарована пока только в собственном муже, а все остальные ей кажутся лучше, чем он. Это даёт нам, соблазнителям, шанс почти стопроцентный. Шеф, вы согласны со мной?

– Хватит трепаться, – прервал я его. – Ты лучше скажи: Хидятуллину перевязал?

– Обижаете, шеф! Работа – это святое. Сначала работа, а девочки, как говорится, потом. Да, перевязал: стало лучше. А Олеся, хоть вы почему-то и сердитесь – всё-таки прелесть…

Прошло несколько дней. Всякий раз, проходя мимо сестринского поста, я испытывал непонятное мне самому беспокойство. Так бывает в начале болезни, в пророме: когда ты, например, простудился, но единственным признаком недомогания пока что является необъяснимое беспокойство, да еще непривычная чуткость, ранимость и взгляда, и слуха. Цвета, звуки, запахи тогда кажутся слишком назойливыми – так, что хочется скрыться от них в тишину и в потёмки.

Так вот и я, в эти несколько дней, испытывал чувство неясной тревоги, томившей мне душу. «Да что же случилось? – пытался я вспомнить причину того беспокойства. – Больные как будто в порядке, годовой отчёт я вчера сдал, внучка здорова… Что еще может меня волновать?» И чем непонятнее оставалась причина тревоги, тем сильнее она меня беспокоила. Я даже и спать стал не так крепко, как раньше: кошмары терзали мой сон, и я поднимался с постели разбитый, как будто всю ночь оперировал.

А потом, в полумраке больничного коридора, я опять натолкнулся на сероглазый свечящийся взгляд, на улыбку, и всё стало ясно: да, меня беспокоит вот именно это лицо, этот взгляд...

– Добрый день! – прозвенело меж стен коридора.

– Добрый день, – пробурчал я угрюмо. – Вы к нам снова на консультацию?

– Нет, – она вскинула брови. – Я просто шла мимо. Но вы, кажется, сердитесь, когда видите здесь посторонних?

– Какая же вы посторонняя? – Я заставил себя улыбнуться. – Напротив, я очень вам рад.

– Правда? – Лицо ее вновь осветилось улыбкой. – Ну, слава богу! А я-то уж думала: вот сейчас тебя, Олька, погонят отсюда метлой...

Мы засмеялись: она звонко и молодо, а я словно кашляя, словно чем-то давясь.

– Может, чаю хотите? – сам для себя неожиданно, предложил я ей вдруг.

– Конечно, хочу, – легко согласилась она. – А лимон у вас есть? Я лимоны ужасно люблю...

VII

В то наше первое с ней чаепитие я разглядел Ольгу внимательней. Ни тонкие брови, ни нос с небольшою горбинкой не отвлекали от главного: от огромных светящихся глаз и от губ, то упрямо поджатых, то расплывавшихся в ясной улыбке.

Как радушный хозяин, я угождал ее и развлекал разговором.

— Так вы где, говорите, учились? — спрашивал я, наливая чай в чашки. — В Энске? Выходит, мы с вами окончили одну *alma mater*.

— Да, только вы чуть пораньше, — улыбалась моя собеседница.

— Всего лет на двадцать: пустяк...

— А вы и вправду, Григорий Александрович, выглядите очень молодо. Взгляд у вас совершенно мальчишеский.

— Что ж, спасибо. Но это всё, Оленька, потому, что в моих глазах отражаетесь вы. А сидела бы здесь какая-нибудь старушка — и я бы с ней рядом казался почти стариком.

— Так просто? Выходит, всё дело в возрасте собеседника? — поднимала она свои тонкие брови.

— Конечно. И вообще мы, хирурги, любим всё упрощать. Так же, кстати, как вы — усложнять.

— То есть мы, терапевты?

— Ну да, терапевты — и женщины.

Секунду задумавшись, Ольга кивала:

— Пожалуй, вы правы. — И вдруг, ни с того, ни с сего, начинала смеяться.

Смеялась она так легко, заразительно — что было нельзя не смеяться с ней вместе. Аж проплакавшись от смеха, она посмотрела таким повлажневшим, признательным взглядом, словно я сделал ей что-то очень хорошее.

— Вы меня уморили, — вздохнула она измодённо, счастливо. — Давно я так не смеялась...

Общий смех сразу сделал нас ближе: уже начинало казаться, что я знаю Ольгу давно.

— Расскажите мне, как вы учились, — просила она, отпивая парящийся чай. — Вы где тогда жили? В общаге?

— Конечно. Нас жило в комнате семеро, и поэтому уединиться там с девушкой было великой проблемой. Так, бывало, и просишь приятелей: да сходили бы вы, черти, в кино!

— А они?

— А они говорят: «у нас денег нет», или «нам надо учиться — у нас завтра зачёт...»

— И что же тогда?

— Ну, делать нечего: поведёшь сам подружку в кино, или пойдёшь с ней шататься по городу. Я за шесть лет так Энск изучил, что экскурсии мог бы водить.

— Ну, а как же насчёт... — глаза Ольги становились лукавыми.

— Насчёт этих глупостей, вы хотите сказать? Да как-то выкручивались. Вы ж понимаете: если двое собирались заняться любовью, то помешать им почти невозможно. Конечно, зимой было трудно: все по подъездам, по лестницам тёрлись. Придёшь утром в общагу, а всё пальто, и штаны, и ботинки в побелке.

— Представляю, какой у вас был тогда вид! — Ольга опять начинала смеяться. — Нет, я с вами точно умру, — махала она на меня своей тонкой рукой. — Сделайте что-нибудь, доктор, мне плохо!

И я, помню, подумал: «Раз ты смеёшься легко, то, наверное, плачешь тоже легко. У таких, как ты, лёгких женщин смех и слёзы всегда рядом — ты даже, наверное, можешь смеяться и плакать одновременно...»

Она вдруг спохватилась:

– Да что ж я сижу? Мне же надо за дочкой, в садик.
– У вас уже дочь? – удивился я.
– Да, ей три года. А почему вы так удивились?
– Нет, ничему. Просто вы очень молодо выглядите.
– Что ж, спасибо – и за комплемент, и за чай. У вас здесь очень славно.
– Вот и заходите почаше.
– Спасибо, зайду непременно...

Я встал, чтобы ее проводить. Уже возле двери она обернулась и, прощаясь, легко прикоснулась к моей левой руке.

– Еще раз спасибо. До встречи, – сказала она.

Мы посмотрели друг другу в глаза. Ее зрачки сузились, взгляд потемнел, и лицо напряглось. «Что с вами, Оля?» – хотел я спросить, но она повернулась и зашагала по коридору. Я смотрел, как ее рыжие волосы колыхались над белым халатом.

Сильная боль вдруг пронзила мне левую руку – как раз там, где Ольга коснулась ее. «Что за чёрт?» – с досадой я потряс кистью, словно желая стряхнуть эту боль, но она прицепилась ко мне не на шутку.

Вернувшись к себе в кабинет, я долго стоял у окна. Боль понемногу стихала, зато нарастала тревога. «Что это было?» – думал я то ли о приступе боли, то ли об Ольге и нашей с ней встрече, то ли обо всем этом одновременно.

VIII

Три следующих дня – как раз с пятницы до понедельника – мне казалось, что я простудился. Мало того, что меня непрерывно знобило, так еще и терзала неутолимая жажда. Я пил воду и чай чашку за чашкой, но не мог погасить тот пожар, что сильней и сильней разгорался во мне.

Что-то случилось и с моей головой: я неожиданно стал забывать назначение простейших предметов. Возьмёшь, скажем, чайник – и долго, с недоумением смотришь на его выпуклый никелированный бок, на отраженье щекастого, вширь расплывшегося лица, и не можешь понять: кто же там распластался по выгнутой стали? И зачем я так долго держу этот чайник в руках? Или зачем я достал одёжную щётку и теперь вожу пальцами по ее рыжей щетине? Я как будто забыл, для чего нужна эта самая щётка, и что я собрался с ней делать.

Навык самых простых и привычных движений тоже стал от меня ускользать. То, что я делал бесчтное множество раз, никогда не задумываясь о том, как я это делаю – завязывал, например, шнурки туфель или застёгивал пуговицы – стало вдруг представляться чем-то запутанно-сложным. У меня все валилось из рук: я, занимавшийся двадцать пять лет кропотливой ручной работой, вдруг разучился работать руками! За выходные дни я разбил несколько чашек, сломал кофемолку и чуть не устроил пожара, оставив включённый утюг на столе.

Даже сын, уж на что был всегда ко мне невнимателен – жизнь вне компьютера вообще мало интересовала его – и тот спросил:

– Что с тобой, батя? Ты, часом, не заболел?

– Пустяки, оклемаюсь, – бодрился я. – Мне сейчас главное вас с Машуткой не заразить.

«Что же это за вирус ко мне привязался? – думал я, запивая водой очередную таблетку аспирина. – Никогда со мной не бывало такого: нет ни кашля, ни насморка, а ломает всего, точно черти всю ночь на мне воду возили...» Я старался не выходить из своей комнаты, почти ничего не ел – зато в огромных количествах пил сладкий чай, добавляя в него коньяку из давнишних запасов, да рассеянно перелистывал старые книги.

Тяжелее всего были ночи. Я или вовсе не спал, или видел кошмары. И неизвестно, что было хуже: лежать и бессонно таращиться в ночь, в темноту, ощущая при этом, как тело то покрываются потом, то мелко дрожит от озноба – или куда-то все время бежать, пробираться, ползти, то убегая от неотвратимой беды, то безуспешно пытаясь кого-то настичь? Кошмарные эти погони за ночь изнуряли меня совершенно – и утром, во время бритья, я видел в зеркале почти незнакомого мне человека: бледного, с бисером пота на лбу и с каким-то затравленным блеском в глазах. «Кто это? – думал я тупо, водя пальцами по обвислым щекам. – И почему у него дрожат руки?»

Да, я перестал узнавать себя самого – свои руки, движения, голос, лицо. Случалось, я долго рассматривал кисти собственных рук, поворачивал их так и эдак, словно вдруг позабыв, что же это такое, и какое они имеют ко мне отношение. Пальцы рук были длинными, еще очень сильными – я, наверное, мог согнуть ими подкову, – но уже подчинялись мне как-то замедленно, будто уже не вполне доверяли. Я был вот именно, что сам не свой – я словно вышел у самого себя из-под контроля.

Об Ольге, как это ни странно, в те дни я почти не вспоминал. Возможно, это была форма самозащиты: психика вытесняла из сознания то, что ее больше всего беспокоило, но легче от этого не становилось.

И вот таким, совершенно разбитым, в понедельник с утра я побрёл на работу.

IX

Был, помню, тягостный день, полный даже не столько работы, сколько разной мороки и суеты – сначала общий обход в отделении, потом вызов к главному врачу и разбор там каких-то, больными написанных, жалоб, потом еще что-то – и лишь в конце дня я наконец встретил Ольгу.

Она шла навстречу по коридору, шагая как-то неуверенно и напряжённо, и я поразился тому, как она побледнела, осунулась за эти три дня.

– Что с вами, Оля? – спросил я ее, и сам не узнал свой потерянный голос.

– А с вами? – Ее лихорадочный взгляд засиял мне навстречу, и стало ясно: у нас с ней одна и та же болезнь...

Не помню, как мы оказались в моем кабинете. Словно ветер гудел в голове, и туман застилал мне глаза. Похоже, что Ольгу несло тем же ветром, и в том же тумане блуждал ее взгляд: она пошатывалась и натыкалась на стулья. Помню только, как мы топтались на сброшенных на пол халатах, как хлопала форточка – в тот день дул сильный ветер – и как жёлтая штора взлетала и опадала к окну...

…Медленно, как после обморока, мы приходили в себя. Вокруг царил хаос. Всё было сдвинуто, сорвано, сбито: стул лежал кверху ножками, книги из шкафа просыпались на пол, со стены упал и разбился портрет Дуайена. Неужели, подумал я, это сделали мы? Или всё это сделала та же самая сила, которая посыпалась с нас ключья одежды – я остался в носке и рубахе, она в болтавшемся на одной бретельке розовом лифчике, – а потом грубо швырнула нас с Ольгой на старый диван? Какое-то время мы с ней лежали безжизненно, как две тряпичные куклы...

– Что это было? – прошептала она едва слышно.

– Не знаю, – таким же пустым и безжизненным голосом просипел я в ответ.

– Послушай… – Она приподнялась на локте, и я близко-близко увидел ее глаза, в которых отражалось мое перевёрнутое лицо. – Мы что теперь, стали любовниками?!

– Похоже на то. – Я ухмыльнулся, и два перевёрнутых мужика в ее радужках ухмыльнулись одновременно со мной.

– Какой ужас! – прошептала она. Но уже через миг, откинувшись навзничь, она стала смеяться. – Ох, не могу… – задыхалась она. – Только-только устроилась на работу – и вот, нате вам! Ну ты, Олька, даёшь – мало, видать, тебя в детстве пороли… Да что ж у тебя за натура?!

Насилу она успокоилась. Похоже, что приступ смеха ее измотал еще больше, чем близость: она снова лежала безжизненно, и было жутко касаться ее ледяных и бесчувственных рук…

Молча мы одевались, поднимая разбросанную одежду. Потом, собираясь уже уходить, она вдруг прижалась ко мне. Я чувствовал, как стучит ее сердце, как она дышит, и не мог понять: плохо ей в эту минуту – или, наоборот, хорошо? Я и сам ощущал себя как-то и очень счастливым, и очень несчастным одновременно. Потом она подняла лицо, и я увидел, что губы ее улыбаются, а в серых глазах стоят слезы…

X

Где-то, помню, читал: «Не бывает несчастной любви». По-моему, можно сказать и обратное: не бывает счастливой любви.

Влюблённость, особенно в самом начале – род тяжёлой болезни, когда всё в голове и в душе, и во всём окружающем мире заполняется чадом, угаром, и в этом чаду нам приходится жить, и общаться с людьми, и ходить на работу. Лечить бы таких, выдавать им больничные: где уж влюблённым доверять что-либо серьёзное, когда и самих-то себя они толком не помнят?

Но больничный лист давать нам никто, разумеется, не собирался; хотя несомненно, что я тогда производил впечатление человека не вполне нормального. То вдруг, ни с того ни с сего, по моему лицу начинала блуждать рассеянная улыбка, и я невпопад отвечал и больным, и коллегам – то вдруг, и опять-таки ни с того, ни с сего, я погружался в такую тяжёлую мрачность, что санитарки и сестры боялись ко мне подходит. «Александрыч-то нынче – зверь зверем! – услышал я, как за моей спиной шептались буфетчица и санитарка. – Как посмотрю на него – так поджилки трясутся...»

Весь день был наполнен одним: ожиданием Ольги. А всё остальное, что происходило в течение суток – обходы и консультации, операции и перевязки – совершил словно вовсе не я, а другой человек, на меня только внешне похожий и носивший одно со мной имя. То, что раньше меня занимало всецело – теперь совершалось почти машинально, бездумно, как будто во сне. Текущая жизнь потеряла вдруг всякую ценность, потому что теперь было важно одно: сколько часов и минут остаётся до времени нашей условленной встречи?

Но, может быть, я был счастлив тогда, когда слышал за дверью ее торопливые шаги, когда дверь кабинета распахивалась и я вставал Ольге навстречу?

– Приве-е-т! – говорила она нараспев, клоня голову набок – Вот и я! Ты соскучился? Я – ужасно...

Моё сердце болело, как будто в предчувствии скорых, уже приближавшихся, бед. Так что вовсе не счастье, а что-то иное тогда наполняло меня...

Вряд ли то, что случалось потом, было именно тем, что мы ждали от встречи. Второпях раздеваясь, мы словно спешили найти что-то важное, необходимое нам позарез, а одежда как будто скрывала от нас это важное, и поэтому мы торопились избавиться от мешающих тряпок.

– Дверь закрыл? – громко шептала она и ложилась на старый скрипучий диван, словно на эшафот: лихорадочно-часто дыша и дрожа всем напрягшимся телом.

Весь мир рассыпался на части – и наши тела, как мерещилось в смутные эти минуты, состояли уже из каких-то разрозненных, чуждых частей. Казалось, нас с Ольгой всё глубже втискивает в воронку огромной крутящейся мясорубки: всё теснее становилось кругом, и всё громче, ритмичней хрюстели ножи той безжалостной, нас расчленявшей, любви...

То, как она приходила в себя после близости, напоминало возвращение к жизни после клинической смерти. Глаза, даже если бывали открыты, блуждали бессмысленно, кисти рук были влажными и ледяными, а запёкшийся рот был не в силах сказать ни единого слова.

– Оля, очнись, – тормошил я ее. – Ты жива или нет?

– А? Что? – наконец слабым голосом отзывалась она. – Где мы? И что это было?..

Когда мы потом пили чай, Ольга так зябко ёжилась, грела руки о чашку, как будто она потеряла последние силы, и ей теперь нечем было согреться.

– Расскажи мне, какой ты была в детстве, – просил я ее. – В мальчиков часто влюблялась?

– О, я была очень влюбчивой! – улыбалась она. – Еще в первом классе влюбилась: его звали Коля Белов. Красивый был мальчик: в кудряшечках, как ангелочек...

– А потом еще были романы?

– Конечно. И я часто влюблялась, и в меня тоже. Я ведь была очень-очень хорошенъкая!

– Да ты и сейчас ничего, – улыбаясь, я гладил Ольгу по голове.
– Как? Всего-навсего ничего?! – возмущалась она. – Сейчас вот как тресну!
– Ладно-ладно, шучу! Ты, конечно, красавица.
Всё, что было связано с Ольгой – ее детство, друзья и подруги, ее институтская юность – было мне важно и дорого; казалось, чем больше я буду знать про нее, тем Ольга будет мне ближе, и те двадцать лет, что нас разделяют, не будут казаться таким уж большим промежутком.
– Так ты что, только с мальчиками и дружила?
– Нет, почему же? Была у меня и подружка – Земфира, цыганка. Мы с ней чего только не вытворяли: и костры жгли, и шалаши строили, и по чердакам лазили!
– Коней-то хоть не воровали?
– Просто случая не было, – Ольга смеялась. – А Земфира могла бы, она ничего не боялась.
– А ты?
– И я тоже. И вообще, мы с подругою были очень похожи.
– То-то я чувствую: есть в тебе что-то цыганское.
– Что же именно? – удивлялась она.
– А в тебе очень много свободы. Когда ты говоришь, ходишь, смеешься – тебя словно ветром каким-то несёт...
– Пожалуй, ты прав, – улыбалась она. – Я действительно девушка ветреная...
И мы с ней смеялись, но странным, едва ли не горестным был наш с ней, раздававшийся в сумерках, смех...

XI

Меня совершенно измучила трудная эта любовь. Без Ольги, без ее глаз, улыбки и голоса я едва выдерживал сутки; но при встречах такое тяжёлое напряжение порой возникало меж нами, что я начинал украдкой поглядывать на часы, ожидая: когда же закончится наше свидание?

Я не мог без нее – и не мог долго быть с ней, в той тягостной, грозовой атмосфере, что часто теперь возникала меж нами. Алкоголики, как известно, пьют не затем, чтобы им стало хорошо, а затем, чтобы не было так мучительно-плохо. Вот и мы с Ольгой были похожи на алкоголиков: встречаясь почти ежедневно, мы словно искали себе облегчения, пытались унять тот недуг, что томил нас обоих.

Но облегченье от встреч было призрачным. Те грозовые тяжёлые тучи, что клубились внутри наших душ – они не светлели и после того, как меж нами проскакивал электрический разряд близости. В глазах Ольги я часто видел такую тоску, что начинал бормотать слова утешения – но это как раз могло вызвать в ней вспышку ярости.

– Зачем ты жалеешь меня?! – возмущалась она, и глаза ее становились слепыми от гнева. – Нашёлся добряк: ты бы лучше себя пожалел!

– Да что с тобой, Оля? – растерянно спрашивал я.

– Ничего! – зло бросала она. – Сначала чёрт знает что со мной сделал, а теперь жалеет…

– Что сделал? Да что ты гордишь?

Она вдруг смотрела мне прямо в глаза таким ненавидящим взором, что мне становилось не по себе.

– Что сделал?! Да жизнь мне испортил, вот что! – почти что кричала она. – Я жила себе тихо-спокойно, и горя не знала – и вот, нате вам: втрескалась, как последняя дура!

– Тише, больные сбегутся, – пытался я ее успокоить. – Послушай, мне тоже непросто…

– Тебе? Да тебе-то что! – говорила она саркастически-горько. – Завёл себе молодую подружку, вызываешь ее в кабинет, когда тебе это удобно, а надо мной уже вся больница смеётся!

– Кто смеётся? Да ты, видно, бредишь…

Но Ольгу, когда на нее находила такая вот дурь, сдержать было трудно. Взгляд ее пылал гневом, руки дрожали, а с кривившихся губ срывались обидные, злые слова.

Похоже, она не терпела любой несвободы: зависимость страсти и та вызывала в ней бурный протест. Она уходила порой, не прощаясь, распахнув двери настежь, и так торопливо, почти что бегом удалялась по коридору – как будто она уходила не со свидания, а совершала побег из тюрьмы.

Да, наши встречи бывали мучительны и порою кончались раздорами – но не встречаться мы не могли. Мы с Ольгой словно попали в бурный водоворот: и той силе, которая нас закрутила в нем, то приближая друг к другу, то разбрасывая в стороны – ей не было дела ни до того, хотим ли мы жить в этом рваном, болезненном ритме, ни до того, что о нас будут думать другие. Прошёл всего месяц с тех пор, как мы стали любовниками, а меня уже трудно было узнать. Я так похудел, что знакомые спрашивали:

– Что с тобой, Гриша? На тебе лица нет. Ты бы, что ли, анализы сдал, или сделал рентген, а то скоро будешь от ветра качаться…

Я бодрился, отшучивался; но наедине с собою самим – когда, например, по утрам брился у зеркала – я тоже с недоумением всматривался в собственное переменившееся лицо. «Неужели вон тот – это я? Где же прежний: с тугими щеками, с двумя подбородками?» На меня смотрел кто-то грустный, как будто побитый; а пальцы рук, что рассеянно трогали впалые щеки, – пальцы заметно дрожали.

– Ты, Гриша, наверное, слишком много работаешь, – сказал как-то мне Митрофанович, наш патриарх. – Возьми отпуск, да отдохни, а то на тебя уже больно смотреть…

Я подумал: «А не уехать ли, в самом деле, на пару недель? Разлука, во всяком случае, должна быть на пользу: мы или поймём окончательно, что друг без друга не можем, или перебесимся, переболеем, и будем жить дальше, как все нормальные люди…»

Как раз подвернулся и повод уехать в Москву. Там начинался хирургический съезд, и меня включили в состав делегации. «Вот и отлично, – решил я тогда. – Потолкаюсь недельку на съезде, а потом еще пару недель возьму за свой счёт. В Москве знакомые есть, пожить будет где – хоть проветрюсь немного…»

XII

Москва встретила суматохой Казанского вокзала, нескончаемыми людскими потоками, назойливыми носильщиками в синей униформе и огромными гулкими залами ожидания, то есть тем, чем обычно столица встречает провинциала.

У выхода, там, где высится статуя женщины, похожая на минарет, меня должны были встретить друзья: Сашка Жуков и Иван Подобед. Двое моих однокурсников лет уж двадцать назад перебрались в Москву и сделали неплохие карьеры. Жуков стал даже заместителем министра. А Иван Подобед заведовал кафедрой иммунологии: его темой был ВИЧ – Иван считался одним из крупнейших специалистов по этой проблеме.

– Здравствуй, Гриша! – услышал я звонкий голос Ивана.

Товарищ мой выделялся в толпе: моложавый, высокий, в отличном костюме, он был скорее похож на артиста, чем на большого учёного.

– Да-а, Ваня, ты до сих пор так же мало похож на профессора, как я на студента. Отлично выглядишь!

Тот засмеялся:

– Стараемся, Гриша, быть в форме! Да и ты молодец: – только вот, кажется, похудел. Но это даже неплохо: потом расскажешь мне, что у тебя за диета.

«Видел бы ты эту диету...» – мысленно ухмыльнулся я.

Тут как раз подошёл Сашка Жуков. Он шагал грузно, вразвалку – как ледокол, раздвигая толпу.

– Здорово-здраво! – загудел его бас.

Обнимаясь с ним, я едва смог свести за его спиной руки.

– Ну ты, Сашка, кабан. И откуда в тебе что взялось? Раньше, бывало, соплей перешёшь...

Посмеялись. Было грустно и радостно видеть старых друзей. Удивительно, но уже через пару минут я видел их словно бы прежними, двадцатилетними – проступавшими сквозь их теперешний облик. И Сашка Жуков казался мне вовсе не тучным гигантом с багровым лицом, а худым пареньком, с которым мы вместе лазили по водосточной трубе в общежитие педучилища, с которым как-то переночевали в медвытрезвителе, и с которым я и сейчас бы пошёл, как говорится, в любую разведку. Только странным казалось, что этот парнишка вставлен зачем-то в тяжёлое, с одышкой шагавшее, тело и надел маску оплывшего, на ходу трясущегося, лица.

– Ну что, орлы? – гудел, как из бочки, Жуков. – Где будем выпивать и закусывать?

Иван предложил:

– Как вам японская кухня? Знаю отличное место.

– Мне всё равно, – махнул рукой Жуков. – Лишь бы не слишком шумно, а то ведь толком и не поговоришь.

На министерской машине – у Жукова был персональный водитель – поехали в Дом на набережной, в ресторан «Рис и рыба». Иван с Сашкой на заднем сиденье оживлённо спорили о государственных дотациях на науку, а я, сидя рядом с водителем и слушая их перепалку вполуха, с любопытством приезжего рассматривал город. «Сколько ж я здесь не бывал? Лет десять... Да, принарядилась Москва-матушка, ничего не скажешь. Ее теперь и матушкой-то не назовёшь: больно уж молода да нарядна...»

Смеркалось по-зимнему рано, и я чувствовал, как погружаюсь в почти незнакомую мне жизнь вечерней столицы. Казалось, что одна Москва, озабоченно-серая, будничная и дневная, быстро тонет в густеющих сумерках – уже были включены фары, – а место ее занимает другая, таинственная и манящая. Эта другая Москва проступала из тьмы, громоздила сиянье реклам, переливы витрин, бесконечные реки огней магистрали – навстречу нам текли огни белые, а

впереди нас рубиново-красные – и я с облегчением чувствовал, как моя тоска растворяется в море безбрежной, сияющей огнями, столицы. Рекламы переливались, мерцали – а надо всей этой огненной роскошью нависали багровые низкие тучи, отражавшие свет московских огней.

Возле Дома на набережной едва нашли место, где можно припарковаться. Иван повёл нас уверенно: мимо охраны, через шумный зал казино, в гардероб, где с нас были ловко сняты пальто, а потом к лифту, который поднял в зал японского ресторана.

– Ну, как вам здесь? – потирая ладони, спросил Подобед.

– Красиво, – ответил я искренне.

Через стеклянную стену были видны освещённые башни Кремля и вознесённая в небо свеча-колокольня Ивана Великого, а те, кто сидели за столиками, будто парили на фоне ночной темноты, среди разноцветных московских огней.

– Не люблю я эти иллюминации, – пробурчал Жуков, садясь спиной к Кремлю. – Значит, так: мне попроще чего. Ну, там водки, огурчиков… И чтобы никаких червяков и лягушек!

– Лапоть ты, Сашка! – засмеялся Иван. – И как тебя только в твоё министерство пускают?

– А попробуй его не пусти, – похлопал я Жукова по богатырской спине.

Нам хорошо было видно, как за невысокой, до пояса, перегородкой работала дюжина поваров-азиатов.

– Японцы? – спросил я Ивана.

– Нет, буряты. Здесь много студентов, среди них есть и наши. Вон тот, например, Ян Бадмаев: – толковый парнишка. Английский знает лучше меня. А здесь подрабатывает, чтобы учиться.

Повара торопливо лепили комочки из риса, накрывали их ломтиками рыбы, кальмара или осьминога и выставляли тарелки на транспортёр, чёрная лента которого медленно двигалась через весь зал.

– Это кайтен, – пояснил нам Иван. – Ручей, по-японски. Если вошёл в ресторан – можешь брать с него всё, что понравится.

– Сколько угодно? – спросил недоверчиво Жуков.

– Сколько угодно, – засмеялся Иван.

Бутылку «Столичной» распили стремительно – как бывало в студенчестве где-нибудь в подворотне. Японские суши оказались отличной закуской. Даже Жуков, который экзотики не любил, и тот увлечённо жевал эти рисовые комочки.

– Конечно, сальца да картошечки навернуть было бы лучше, – бурчал он с набитым ртом, – но, на худой конец, сойдёт и эта японская тарабарщина. Ну, что: заказываем вторую?

– Конечно. Когда еще так посидим?

Захмелев, говорили в тот вечер сумбурно и много, мешая воспоминания с тем, что каждого волновало сегодня. Иван сначала рассказывал об Японии, где он проработал полгода и где как раз пристрастился к тамошней кухне, а потом перешёл на свою любимую тему.

– Вот вы говорите: вынь, да положь вам лекарство от СПИДа! – звенел его голос. – А того не хотите понять, что этого вируса просто так не возьмёшь. Это вам, братцы, не какая-нибудь гонорея, от которой сделал укол – и гуляй себе дальше, как новенький!

– Почему «не возьмёшь»? – басил Жуков. – Возбудителя определили? Вот и ищите, чем его, гада, давить.

– Э-э, братцы, не всё так просто! – горячился Иван. – Вот вы мне скажите: что такое, по-вашему, СПИД?

– Как что? Приобретенный иммунодефицит.

– Правильно! – потирал Подобед ладони. – А что такое иммунитет?

– Иммунитет? Ну, это… Система защиты. Против всяких там чужеродных вторжений.

– И опять, Гриша, в точку! Нет, ну до чего ж у меня друзья умные! – захмелевший Иван восхищённо вскидывал руки. – Иммунитет, стало быть, есть стремление оставаться собой – вы согласны?

– Угу, – бурчал Жуков, в очередной раз дотягиваясь до бутылки «Столичной».

– А если человек оставаться собой не желает? Что тогда с ним прикажете делать: антибиотиками лечить?

– Да, – вздохнул я. – Антибиотики здесь не помогут…

– Вот-вот, я к тому и веду! – Глаза у Ивана болезненно и горячечно блестели. – СПИД это выбор, который больной совершает на клеточном уровне: быть собой – не хочу, и пошли вы все в задницу!

Подобед возбуждённо размахивал деревянными палочками так, что даже невозмутимые повара-буряты с любопытством поглядывали на нас.

– Погоди-погоди, – придержал я Ивана. – А вот если, к примеру, человек сильно влюблён, если он сам, как говорится, не свой – это ведь тоже, в каком-то смысле, иммунодефицит?

– Конечно! – горячо соглашался Иван.

– Эк, куда вас шарахнуло, – хмыкнул Жуков, который почти не хмелел. – Так вы скоро и от любови начнёте лекарство искать…

– И начнём, что ты думаешь?! – почти кричал Подобед. – На кой хрен сдалась эта любовь, когда от нее люди сходят с ума?

«Да-а, – думал я, глядя на расходившегося Ивана. – Видно тебе от баб тоже досталось, раз ты так на любовь нападаешь…»

Оказалось, что я угадал. Когда Иван отлучился, Жуков, нагнувшись ко мне, прогудел:

– А Ваньку-то нашего, знаешь, жена бросила…

– Да ну??!

– Вот те и ну… Взяла, да уехала с дочкой в Америку – нашла там какого-то странного миллионера.

– Вон оно что, – вздохнул я. – То-то смотрю Иван вроде как не в себе…

Засиделись мы за полночь. Выходили из ресторана уже на нетвёрдых ногах и, когда шофёр Жукова вёз нас к Ивану – я должен был у него ночевать – мне всё казалось, что красотки на придорожных рекламных щитах вот-вот оживут: так улыбались, подмигивали их лукавые лица. Одна из них показалась похожей на Ольгу – такая же точно капризная линия губ и крыло ярко-рыжих волос – и я всё, помню, ждал, всё таращился в ночь: не мелькнёт ли еще, среди ярких реклам, ее удивительная улыбка?

XIII

Я поселился в большой холостяцкой квартире Ивана на Рублёвском шоссе – сам хозяин через пару дней улетел в Лондон – и жил себе, что называется, кум королю. Холодильник был полон еды, бар полон выпивки, деньги тогда у меня водились: чего еще было желать одинокому джентльмену?

Плохо было одно: со мной не было Ольги. Первое время она мне и снилась, и даже являлась порой наяву. То мерещилось, что ее рыжие волосы колышутся впереди, в тротуарной толпе – то казалось, что ее взгляд плывёт мне навстречу в метро, и я, вздрогнув, хватался за поручень эскалатора…

Желание видеть и слышать Ольгу порой становилось мучительно-острым. Несколько раз я попробовал до нее дозвониться, но ее телефон почему-то был недоступен. «Что ж, не судьба, – думал я. – Ничего, ждать не так уж и долго: вернусь, тогда и наговоримся…»

Но через несколько дней – сам себе удивляюсь – мне стало легче. То ли новая обстановка отвлекала меня, то ли мне помогали забыться разнообразные впечатления съезда – я ходил на его заседания регулярно, как на работу, – но я мало-помалу, как ослабевший больной после тяжкой болезни, начинал приходить в себя.

А Москва помогала мне в этом. Само ощущение огромного города, в водовороте которого вертелось великое множество человеческих судеб, ощущение гигантски-безбрежных масштабов столицы – оно, как ни странно, меня утешало. Казалось: ну что значу я сам, и все мои чувства и переживания – на фоне вот этой безбрежной, куда-то несущейся, жизни? Для Москвы я – ничто, и любовь моя – тоже ничто; так, может, и в самом-то деле не стоит особенно все усложнять?

Заседания съезда я посещал с удовольствием. Интересными, главное, были там люди: со всей страны съехались сотни хирургов, и совсем молодых, и уже патриархов с почти легендарными именами. Я гордился, не скрою, своею причастностью к этому миру. Здесь были собраны, в сущности, лучшие люди страны: работяги и умницы, те, с кем можно было и побалагурить, и выпить, и поговорить о серьёзных вещах.

Пообщавшись с коллегами, я даже вспомнил о своей диссертации, которую начал было писать после смерти жены – надо было хоть чем-то заполнить постылую, вдруг опустевшую, жизнь – но потом я забросил научную эту работу. А теперь вдруг подумал: «Почему бы мне к ней не вернуться? Материала собрано предостаточно, тема самая что ни на есть актуальная. Очень кстати я и в Москве оказался: похожу-ка в научную библиотеку, посмотрю, что нового появилось по язвам желудка – а потом доведу, наконец, до ума то, что начал. Как-никак, уже четверть века оперирую эти самые язвы – пора подводить кое-какие итоги».

Когда закончился съезд, и я отлежался-отмяк после заключительного банкета – я стал ходить в центральную научную библиотеку. Это дело меня так увлекло, что я часто засиживался там до закрытия, и деликатные женщины из отдела периодики спрашивали меня: «Простите, а вы не могли бы прерваться до завтра?»

С шумящей после долгого чтения головой шёл гулять по вечерней Москве. Я когда-то неплохо знал старый центр, и теперь, вспоминая, распутывал хитросплетения улиц и переулков внутри Бульварного кольца. Конечно, многое здесь изменилось – теперь не узнать было фасадов старинных домов и витрин магазинов, знакомых по прошлым наездам в столицу – но многое и осталось таким, каким было. Остался задумчивый Пушкин над шумною площадью – такая же прозелень прступала по складкам его бронзового плаща, – остались скамейки и липы Тверского бульвара, остался храм Вознесения у Никитских ворот, где венчались Пушкин и Гончарова, и остался сидящий за храмом «третий Толстой»: даже в чугунном обличье он производил впечатление редкостного обжоры, пьяницы и жизнелюба.

Я неспешно бродил по сиявшей огнями Москве, наслаждаясь еще непривычной мне волей и праздностью. Из запасов того коньяка, что привёз я с собой, каждое утро я отливал пол-бутылки в карманную плоскую фляжку, и потом делал глоток-другой «Наполеона» или «Ани» в любой момент, когда мне захочется. Иногда заходил выпить чашечку кофе в какое-нибудь, по пути подвернувшеесяся, кафе. Красивые, как на подбор, официантки неизменно радушно встречали немолодого, но хорошо сохранившегося мужчину в отличном пальто и костюме, безупречно побритого и благоухавшего дорогим одеколоном – то есть, встречали меня. Случалось, на меня с любопытством посматривали и красотки из-за соседних столиков – видимо, по одежде и по манерам принимая меня за какого-нибудь дипломата или банкира. Эти женские взгляды мне были, конечно, приятны – стало быть, я, как мужчина, был до сих пор интересен – но я не хотел затевать никаких новых романов: с меня хватало и старого, там, откуда я только недавно уехал.

XIV

Я гулял по Москве, удивляясь тому, как же быстро она из растерзанно-дикого города, заполнёного мусором и бомжами – а именно такой я помнил Москву начала девяностых годов, – превратилась в благопристойную и процветающую столицу.

Нищих на улицах теперь не встречалось. Разве что возле вокзалов, в подземных, кишящих людьми, переходах еще попадались и инвалиды в колясках, тянувшие грязные руки к прохожим, и чумазые дети неизвестной мне национальности, клянчившие подачки так весело, с таким живым блеском в глазах, что хотелось не пожалеть их, а, напротив, завидовать их напористой жизненной силе.

Подземные нищие странным образом привлекали меня. Нередко, делая вид, что листаю журналы или рассматриваю безделушки на пёстром лотке коробейника, я наблюдал жизнь нищей братии.

Оборванцы сидели на грязном асфальте у стен перехода, словно на берегу реки. Брызги монет вылетали время от времени из гомонящего, шаркающего людского потока – и, блеснув, падали в грязные шапки или жестяные коробки. Услышав, как звякнула очередная монета, нищие начинали кивать головами – но поразительно равнодушными, даже высокомерными оставались их лица. Возможно, что кто-то из нищих и впрямь сознавал свое превосходство над суетливо спешащими мимо людьми. Как ни крути, обитателям подземелья было больше известно о жизни, чем благополучным и сытым – но всегда озабоченным чем-то – жителям верхнего мира. Видно было, что даже и милостыню горожане бросают с таким виновато-испуганным видом, словно вот этою жалкой подачкой хотят откупиться от рока, задобрить судьбу – ту судьбу, что как будто глядит на прохожих глазами вокзальных бомжей.

А этим бояться уже было нечего, они уж и так опустились на самое дно: поэтому их отупелые, бледно-опухшие лица порой выражали бесстрашие обречённости. И во мне оживало народное, древнее чувство благоговейного страха перед юродами, нищими, перед бродягами или слепцами – перед Божими, как говорится, людьми…

Как-то, в переходе под площадью трёх вокзалов, мне попытались гадать. На ступенях, ведущих в Казанский вокзал – я как раз шёл туда за обратным билетом, – мою левую руку схватила цыганка.

– Подожди, дорогой, погадаю! – хрипло выкрикнула она.

С любопытством я посмотрел на гадалку. Худая, подвижная, смуглая, она вся состояла, казалось, из шелеста юбок и звона монист, да еще беспокойного яркого взгляда.

– Ладонь-то, ладонь-то раскрой! – нетерпеливо приказывала цыганка.

Ухмыляясь и пожимая плечами, я разжал пальцы левой руки. Взгляд цыганки напрягся.

– Подожди-подожди, – удивилась она.

Склонившись, она жарко дохнула мне на ладонь, потом быстро протёрла ее рукавом жёлтой кофты. Казалось, цыганка сама не верила в то, что увидела. Отпустив мою руку, она неуверенно пробормотала:

– Рука не годится! Я лучше тебе по-другому сейчас погадаю…

Запустив руку в юбки, она достала круглое зеркальце и, наведя его мне на лоб, стала что-то высматривать.

– Напрямую смотреть нельзя – так чужую судьбу на себя принять можно, – поясняла она не то мне, не то себе же самой.

Но и зеркало, видимо, мало ей помогало. Подышав на него, протерев водянисто мерцающий круглый глазок, она вновь попыталась всмотреться в мое отражение. Неподдельный испуг простиупил в ее смуглом лице.

– Да ну тебя к чёрту! – И она неожиданно бросила зеркальце оземь.

Цыганка, со всем ее шелестом, звоном, горячечным взглядом – мгновенно исчезла, как будто растаяла в зыбких тенях перехода.

«Вот так штука...» – Я озирался, потирая занывшую левую кисть. Что было делать: смеяться иль плакать, идти, куда шёл, или, может, вернуться? Осколки разбитого зеркала, помню, хрустели в ногах торопящихся мимо людей, и от этого хруста мороз пробирал по коже...

XV

Возвращаясь, я с нетерпением ждал встречи с Ольгой. Пока ехал в поезде, всё представлял, как увижу с ней, что ей скажу – и как мне навстречу засветится ее взгляд.

Однако наша с ней встреча меня оглушила. Я только-только поднялся к себе на этаж, вставил ключ в дверь кабинета – как услышал шаги за спиной. Конечно, я их узнал – и, расплываясь в улыбке, обернулся к шагающей Ольге.

Но ее взгляд был каким-то слепым. Рассеянно, словно не узнавая, Ольга скользнула глазами по мне, потом, спохватившись, кивнула и, склонив голову набок, торопливо прошла дальше по коридору.

Я так и замер, с ключами в руке, с застывшую глупой улыбкой – и тупо смотрел, как она удалялась. «Что это значит? Я брежу, или это сон?» Машинистски открыл дверь, снял пальто и швырнул его на диван, а потом, встав к окну, прислонил к ледяному стеклу свой пылающий лоб. Слепой, равнодушно скользнувший по мне ее взгляд вновь и вновь возникал у меня перед глазами. Весь ужас был в том, что, при всей слепоте – Ольга словно не видела ни меня, ни сестёр-санитарок, сновавших вокруг, ни обшарпанных стен коридора – взгляд ее был несомненно счастливым! Ясно, что только влюблённая женщина может смотреть вот таким, ослеплённо-сияющим, взглядом. Где уж ей видеть кого-то еще, если только один человек занимает и мысли, и душу, но теперь это вовсе не я…

Несколько дней прошли, как в дыму. Я, конечно, ходил на работу, что-то там делал, консультировал и оперировал, но всё это совершалось автоматически, словно само по себе, по инерции многолетней привычки.

Я только теперь осознал, как мне плохо без Ольги. «Ну не может же быть, – думал я, – чтобы всё оборвалось так быстро, так вдруг? Просто нам надо встретиться, поговорить, надо вспомнить друг друга…» Но я не мог с ней увидеться, как ни старался: похоже, что Ольга нарочно меня избегала.

Зато я встретил счастливого, как это пишут в романах, соперника. Это было во время утреннего обхода в реанимации. Мы, полтора десятка врачей, переходили от больного кльному; я, как обычно в те дни, плелся позади всех с видом потерянным и отрешённым.

– Смотри, Гриша, – толкнув меня в бок, прошептал толстяк Юровский, заведующий гинекологией. – Вон с тем красавчиком у Ольги Фокиной роман. Его только месяц, как приняли анестезиологом, а по нему уже все наши девки сохнут…

Я ничего не ответил на смрадный, одышливый шёпот Юровского – эта старая жаба никогда не упускала случай посплетничать, – зато мрачно, не отрываясь, смотрел на высокого смуглого парня, которого мне указали. Тот даже поёжился и передёрнул плечами – как видно, почувствовав мой ненавидящий взгляд.

Молодой доктор был, в самом деле, красив – и, похоже, не сомневался в том, что его все вокруг любят. «А как же иначе? – словно бы говорило его улыбающееся, приветливое лицо. – Разве я что-нибудь сделал плохое?»

Голова моя зашумела, и багровые пятна поплыли в глазах… Не помню, чем завершился тот злополучный обход; помню только, как я, уже у себя в кабинете, тупо смотрел в окно, ничего в нем не видя, и катал языком во рту таблетку нитроглицерина. Грудь и голову всё сильнее сжимали тиски – и казалось, что сердце вот-вот остановится…

Не стану подробно описывать, как мне было плохо. Я жил тогда, словно в аду. Меня самого словно вовсе и не было; а тот мой двойник, что еще, по инерции, утром шёл на работу, проводил там планёрки, потом оперировал, потом пил коньяк в закрытом на ключ кабинете – этот чужой, механически выполняющий все человек почти не имел ко мне отношения. Мне даже казалось, что, если избавиться вдруг от него, если бы он, скажем, попал под машину, или

выпил смертельную дозу снотворного, то в моем мучительном существовании его, двойника, исчезновение мало бы что изменило. Страдание словно превосходило меня самого – казалось, что даже и смерть ничего не могла б с ним поделать...

А иногда, во хмелю, мне мерещилось: «Может, всё это мне только снится?» Казалось, какая-то словно ошибка вдруг вклинилась в жизнь – и эту ошибку не поздно исправить. В таком состоянии я доходил до поступков постыдных и жалких: я начинал звонить Ольге.

– Да! Я слушаю! – отзывался ее бархатистый, взволнованный голос. Но уже по самой затянувшейся паузе Ольга догадывалась, что звонит вовсе не тот, кого ей хотелось бы слышать, и повторяла почти раздражённо: – Ну, говорите же, слушаю вас!

– Здравствуй, Оля... – насилиu выдавливал я. Мой голос был сиплым, безжизненным.

Теперь уж она не спешила ответить. Мне мерещилось: в паузу, что повисла меж нами – как воздух в пробоину – вытекает вся жизнь. Уже было нечем дышать, сердце сжимало и я торопливо нашаривал нитроглицерин...

– Зачем ты звонишь? – наконец отзывалась она.

– Не знаю, – сипел я растерянно. – Просто хочу тебя слышать...

– Ну, слышишь и что, тебе легче? – с жестокой усмешкой спрашивала она.

– Нет, не легче...

– Тогда и называнивать нечего, всё и так ясно. – Голос ее становился холодным и твёрдым, как лёд. – Прости, но между нами всё кончено.

И Ольга вешала трубку.

XVI

В отделении многие недоумевали: что это сделалось с шефом? Я стал раздражителен, груб и рассеян; я стал придиরаться к таким пустякам, на которые раньше не обратил бы внимания и моя раздражительность создавала вокруг нервожно-болезненную обстановку.

Я мог, например, за сущий пустяк накричать на сестру, да еще при больных, но при этом я мог позабыть ее имя.

– Галина! – орал я на весь коридор. – Сколько раз я тебе говорил: не зови больных к телефону!

– Я не Галина, а Таня, – обижалась сестра, и глаза ее наполнялись слезами. – А к телефону зову потому, что у Петракова из третьей палаты только что мать умерла…

– Всё равно непорядок! – рычал я, не в силах сдержаться.

Что делать? Несчастье распространяется, словно вирус – стараясь и всех вокруг сделать тоже несчастными.

И оперировать я стал хуже, нервознее и торопливее. Пропала та точность и ясность движений, которая отличает хирургов высокого класса. Откуда ей, ясности, было взяться, когда в голове и в душе моей всё было вверх дном?

Даже и ассистенты, мои молодые ученики, которыми прежде я был так доволен, стали вдруг бестолковы, неловки – а это уж верный признак того, что сам оператор работает плохо. Нет, конечно, огромный мой опыт длинной в двадцать пять лет что-то значил – даже тогда оперировал я довольно прилично – но пропала та лёгкость рук, при которой стороннему зрителю кажется, что операция движется словно сама по себе. Когда работает мастер, и все у него получается – кажется, что любой человек, позови хоть прохожего с улицы, может сделать все то же самое. Я же стал оперировать так сложно и вычурно, что операция превращалась в какой-то запутанный фокус с переставлением крючков, многократной наводкой лампы – мне всё казалось, что в ране тесно, темно – и с неестественно-сложными выкрутасами собственных рук. Всё меня раздражало, и операционные сестры уже и не знали, чем мне угодить. Я швырял прямо на пол зажимы и ножницы – инструменты гремели по кафелю – и орал дурным матом:

– У нас что, зажимов нет поприличнее?! Что вы суете мне это дермо?!

Сами руки мои мне мешали: они были неловкими, словно чужими. Порою казалось, что оперирую вовсе не я, а другой человек…

Привезли, помню, тяжёлое ножевое ранение. Молодой наркоман, с головы до пят покрытый татуировками – по всему телу переплетались драконы и змеи – был взят прямо из наркопритона. Парню воткнули в живот большой кухонный нож, и его деревянная рукоять качалась в такт пульсу, пока раненого везли на каталке в операционную.

Открыв живот, отчерпав кровь и сгустки, я долго не мог отыскать: откуда так сильно кровит.

– Да растяните же рану! – рычал я на ассистентов. – Я ни черта здесь не вижу!

– Мы стараемся, шеф, – бормотал Семирудный, уже весь потный от напряжения.

– Плохо стараетесь, – фыркал я, разгребая ладонями петли кишок. – Ага, вроде вижу: Петровна, давай скорей шить!

Нож пересёк селезёночную брыжейку, и было никак не добраться до короткой, плевавшейся кровью, артериальной культи. К тому же, и руки меня плохо слушались: пальцы заметно дрожали. Я старался работать как можно быстрее, но в суете, как назло, всё получалось не так, как надо. Одна лигатура порвалась, затем я обронил и потерял в глубине раны иглу – попробуй, найди ее там, в луже крови, а когда наконец уже с третьей попытки вкололся под брызгавший кровью сосуд, то игла с хрустом вонзилась в мой собственный палец! Я попал, видно, в нерв, потому что боль прохватила всю левую руку до самого сердца.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочтите эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.